Этот разговор был затеян совершенно случайно. Вернее, чудесным сочетанием трех обстоятельств, да еще и на Пасху.

Пасхальная радость – это, кстати, первое побудительное обстоятельство, устроившее внутреннее торжество от открытия идеи.

Началось все с того, что в соцсети выложил пост и сопроводил его фотографией с надписью «Нет смысла». В записи шла речь о нелюбви ко всяческим литературным хит-парадам, рекомендательным спискам, которые сейчас очень и очень популярны.

Было в той записи что-то провинциально-романтическое, наивное, но не снобизм, нет: «В тоску впадаю от рекомендательных списков литературы. И ничего с этим не поделать.

В состояние, схожее с паникой, впадаю от вопроса: “Что почитать? Посоветуй”.

А как это возможно, посоветовать?..

Не подскажете, в кого мне сегодня влюбиться? Составьте список рекомендаций.

Или заскучал от бездуховности и надо бы выбрать себе веру, чтобы всласть серферить по волнам мудрости с замочной скважиной в трансцендентное. Посоветуй…

Как возможно подобное с книгой? Это ведь тоже из разряда влюбиться и уверовать, бонусом узнать что-то о жизни и смерти, сформулировать тот или иной вопрос после.

Как можно советовать такое, кто я такой, чтобы делать это? Книжная сваха, миссионер, ловец рекрутов?

Конечно, часто хочется поделиться прочитанным, но что будет для другого эта твоя радость? Быть может, для него там все будет иначе, другие смыслы и не радость вовсе. Получится, что обманул…»

Ну и на самом деле: «Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?», и любая твоя рекомендательная реплика из благих соображений может обернуться ложью.

Было в той записи еще что-то об этих самых рекомендательных списках, которые вполне могут вылиться в особый жанр литературной критики. Ну, и эта случайная фотография с надписью: «Нет смысла». Глупость, конечно, несусветная, но в какой-то момент показалась уместной, другой все равно не нашел. Впрочем, удалил ее сразу же после первого комментария. В том комментарии мне и указали, что «лучше бы вместо этого поста в честь праздника дали рекомендации “Современная русская проза. Лучшее”».

Что сказать… радость обретения смысла испытал, когда казалось «смысла нет».

Но опять же не было этой радости без третьего весомого фактора. Именно в тот день открыл сборник рассказов Михаила Тарковского, и музыка его слова, рассказа звучала в голове до головокружения. Искала выход в песню.

Вот и сочетались все факторы в праздник и радость. К тому же эта пасхальная история должна быть непременно историей любви, о ее преображающей силе. В этом ведь и смысла праздника. Тем более что перед тем Воскресением вспомнился преподобный Симеон Новый Богослов – один из любимых. Его слова о сопричастности человека Воскресению, которое касается каждого, кто готов Его принять, кто верует, а вера животворит, воскрешает и преображает. Именно в этом и смысл Воскресения – в соработничестве человека и Бога, Который воскресает в человеке, преображая его. Через веру человек получает способность «видеть самого Христа, воскресшаго въ немъ и его воскресившаго». Так в каждом человеке может возгореться свет благодати. Таков триумф человека. Эта возможность обретения чуда и преображения изначально являлась одним из главных побудительных мотивов отечественной книжности. Тот же Пушкин не случайно воспринимается за «солнце», у него как раз об этом.

Книга преображает и несет свет. Про эти запечатленные сияния и захотелось рассказать. Про личные опыты любви.

Третий Тарковский

Совершенно невозможная, невероятная проза. Наверное, это как в Енисее искупаться. Да и очищает, будто русская баня на его берегу. Чистота и вечное движение. Как бы после этого все прочее не стало восприниматься каким-то мелким и суетным (я о прозе)…

Хотя почему невозможная? У него в лесной избе на полке рядом с лекарствами и «пульками» томик Пушкина лежит без корешка. Все остальные книги тонут в сундуке на порогах, а тут прямое горячее рукопожатие Александра Сергеевича, передающее способность видения чуда и обычными глазами, и «умным зрением». Всегда ждет, всегда на месте и никогда не бросит. То, без чего не обойтись.

Поэтому и Михаил Тарковский невероятен и в то же время прост и понятен, ничего гнилостного, темного не прилипает к его рассказу. Только течение реки и жизни. Оно может быть и непредсказуемым, но в целом понятным, так как происходит по своим законам.

Головокружительная проза. Особенно рассказы. Будто после долгого сидения в городской самоизоляции попадаешь в лес, к реке и ощущаешь перенасыщение кислородом, потом та самая баня, изгоняющая все ненужное, делающая чистым, «освободившимся от копоти».

Действительно, с его прозы будто что-то зазвучало внутри. Пусть и чрезмерно пафосно это будет, но что-то внутри срезонировало и заиграло музыкой. Наверное, именно так «открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости» ко всему, что окружает.

Что это была за мелодия – сложно сказать, но нечто деятельное, побудительное и в то же время спокойное в своей рассудительности. С ней весь мир обретал красочность, становился искристым, почти что драгоценным, являл свою ценность и красоту. Будто покрывался блестящим инеем, который не прятал предметы и тем более не уродовал, а подчеркивал их красоту и осмысленность, потому как отражает свет.

Рассказ – что ручеек, который побулькивает под корочкой льда. Такова завеса тайны. Откололась льдинка – и возникает умиление от «зимней живучести речек и ручьев, продолжающих таинственно побулькивать» («Васька»), что новое откровение и радость.

Этим сокровенным звуком таинственного «побулькивания», несущего секрет «поразительной восприимчивости», и предстает проза Михаила Тарковского.

У него та самая пушкинская «речка подо льдом блестит»…

Ручеек, пробивающий себе дорогу, объемлющий и соединяющий мир, считывающий его своим движением. Такова история не прекращающегося и приглушенно звенящего пути. Все тот же свет отечественного чуда, тайну которого смог сформулировать в свое время Пушкин. В его «Зимнем утре» есть и про пробуждение, и про движение «навстречу Северной Авроры». Про преображение-озарение светом окружающего пространства. И, конечно же, путь, бег, скольжение «по утреннему снегу». В этом движении лирический герой уподобляется той самой речке, которая блестит подо льдом, чтобы рано или поздно отыскать «берег, милый для меня»…

Таков путь Михаила Тарковского. Он подледным ручейком блестит и негромко «побулькивает». Это путь поэзии, которая соприродна национальному. Вот у Ивана Ильина есть отличное на этот счет: «Русский народ имеет единственную в своем роде поэзию, где мудрость облекается в прекрасные образы, а образы становятся звучащей музыкой. Русский поэт одновременно – национальный пророк и национальный музыкант. И русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, – никогда не денационализируется».

Да, именно «звучащей музыкой», исходящей из образов, и можно определить прозу Тарковского. Чистейшая вода в движении. Символ преображения, если взять различные состояния воды и их изменения. Малые ручьи, наполняющие собой обширный Енисей, растворяющиеся в нем, через самоумаление, становящиеся иным и многим больше, чем были ранее, создающие многоголосие единства. Череда чудесных метаморфоз, литургия которых развертывается в природе.

Это даже еще не сама поэзия, а ее чувство и процесс рождения из самых простых образов, которые подсвечивает та самая «восприимчивость». Через нее и ведется тонкая настройка человека на принятие этой поэзии, этого чуда.

Так осенью «лист кривой березки, скоро потребующей столько любви и прощения в своей нищете» может стать поводом благодарения Бога, а также личного эмоционального преображения. Именно эти состояния и важны, в тайге от них ничто не отвлекает. Наоборот, в ней «мир сведен до размеров, когда в нем можно навести порядок своими руками». Оттого, например, и «ненавидит всякую времянку, халтуру, лень» герой рассказа «Стройка бани» Иваныч. Его дело жизни как раз и заключается в устроении порядка, в делании и строительстве. Через это он и обретает «ощущение достойно прожитой жизни». Обустраиваемый им мир становится все «понятней, родней и благодарней при правильном обращении». За что он и заслужил легкую смерть, когда его «чистая» душа отлетела вверх «ручейком расплавленного воздуха», а все обиды и раздражения «струйкой крови ушли в землю».

Так персонаж Тарковского через передачу человеческого опыта, производящего порядок, оказался встроенным в вечный круговорот гармонии. Ста-

новится важным звеном в этом течении жизни, которая переходит в разряд вечного. Для вечности ведь еще и потрудиться надо, чтобы сохранить ее строй и порядок: «…может быть, действительно все продолжается – пока текут реки, шумит тайга и гонит русская земля таинственную влагу жизни». Она – в ручьи, те – в реку, где чистое поднимается вверх и становится снегом, который, падая, наполняет человеческие души светлой радостью. Человек вписан в этот круговорот, представляя с ним единое целое. Счастье и чудо достигается в этом единстве, а оторванность понятно к чему ведет. К неустрою и ощущению себя в качестве блуждающего и бессмысленного осколка.

Тайга – тайна. Здесь лучше всего познается смысл вечного круговорота жизни, который раскручивает энергия каждого.

Рассказы Михаила Тарковского, как правило, завершаются формулой чудесного, к которой стремится все повествование. Так время ставится на паузу, чтобы запечатлеть, оставить свою фотокарточку для вечности. В ней может быть и нагромождение случайностей и неправильностей, расходящихся с обыденной логикой, но можно также считать знаки и отражения иной реальности. В этом весь смысл. Те самые створы жизни и то, что поднимает вверх и не дает уйти под толщу житейской воды.

Сам рассказ – не что иное, как опыт соприкосновения с этим чудом. Тут и возникает образ ветра, отсылающий к библейскому движению Духа Божьего над водой. Через подобные проявления чуда, как необычайного синтеза, и человек возвышается над собой, обретает способности полета.

В финале рассказа «Гостиница “Океан”» Павлу показалось, что «он – самолет». Его полет зависит от чистоты керосина, который залит вовнутрь и питает движение: «…что же будет, если вдруг недостаточно чистой и прозрачной окажется горючая и горемычная моя душа»…

Можно стать ветром «порывистым, отчаянным, подхватывающим душу», обернуться чайкой, которая закружит «высоко над всем происходящим. Над всем родным и навсегда любимым…»

Через полет этот человек и получает способность прикосновения к тайне. Само русло, по которому движется автор, – путь прикосновения к ней, попытка обретения ключей тайн через созерцание мистики и отражений в простом. Через это прикосновение и возникает кадр – «замороженное время», запечатлевающий тайну и восторг от нее. Небо, вода и ветер создают особое полотно для отпечатка узора жизни.

В этом есть особое служение, будто в храме, ведь «природа – самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми». Сам образ России у Михаила Тарковского предстает «окутанный дремучей тайной природы». Своеобразная книга, в пространстве которой и разворачивается этот диалог. Остается только научиться читать и понимать его.

Отсюда и возникает внутренний диалог с Пушкиным, оставившим эталонный опыт прочтения ее. Диалог о служении и преемственности: «Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла» («Осень»). Разговор о служении «вечной красоте» возникает, конечно же, осенью…

Щелк – и откровение нового кадра «замороженного времени»: «в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка», с нее лиственничная хвоя плывет по реке – эта картина «и в старости будет волновать меня до озноба»… Кадры через остановку и замедление могут соединять и прошлое с настоящим и переплывать в будущее.

Щелк – и подтягивается все, «без чего нельзя жить», к дому Гоши из рассказа «Замороженное время». Неустроенное ранее жилище теперь сияет своей полнотой и порядком, так преображается и сама жизнь героя. Цельность формирует застывшую картину счастья и покоя с одним желанием, чтобы «все это замерло навсегда».

«Не прошу ничего нового. Тихо прошу: оставь все как есть хотя бы еще немного. Не ломай ничего, Господи. Даже не дыши», – а это уже из прозы Захара Прилепина. Этот непроговоренный возглас читается то и дело и у Тарковского.

Щелк – и все те же вариации пушкинского «Зимнего утра». Идет снег и будто людям в душу попадает, оставляет там свой отпечаток. От него потом «на всю жизнь светло, легко делается». А на другой день – уже солнце, которое притягивает тот самый внутренний свет. Так и душа, и мир освещаются и наполняются гармонией. Снег и солнце производят чудо – знаки проявлений божественного в мире, Его попечение о человеке, напоминание «примороженным истрепанным людям, что не совсем забыл их еще Бог» («Ложка супа»).

Именно это же чудо преображения запечатлено и у Пушкина. Совершается преодоление хаоса и разлада с их спутниками: вьюгой, мглой, мутным небом и мрачными тучами. Преодолевается состояние замкнутости, скованности, печали. Хоть мгла и носится, беснуется, но она запечатана в мутном небе. Нет ни воли, ни простора. Чудо же устраняет любую пространственную ограниченность. Природа преображается и наполняется чистой цветовой гаммой. Так же чудо преображения проникается в человеческое пространство – в комнату и дальше вовнутрь, в душу и находит там отклик. В комнате – печь, в душе – внутренний свет. Это единство создает праздник, веселье. Человеческое пространство через свет также размывает все границы и становится распахнутым. Человек соединяется с природой и стихией в движении. Та мгла, которая еще накануне носилась, та вьюга, которая злилась, теперь становятся «кобылкой бурой».

Человек, преодолевая свою внутреннюю ограниченность, соединяясь с миром через свет и движение, не теряет себя, а, наоборот, через единение с общим обретает и постигает личное: «берег, милый для меня».

Так выстраивается система отражений, связывающая все сущее в единое целое, преображая мир и делая его украшенным. Что вполне вписывается в православную святоотеческую традицию. Например, «красота», украшенность у Григория Нисского тесно связана с центральным догматом христианского Шестоднева: понятием «образа и подобия».

Бог – высшая эстетическая величина, Он источает свою энергию-красоту на все творение. Тварный мир «украшается подобием красоты первообраза». Человек становится своего рода зеркалом, которое принимает и отражает или, наоборот, отвергает свет этой красоты. В человеке-зеркале формируется отражение – «подобие красоты первообраза». Человек, принявший это отражение, становится прекрасным, отступивший – «безобразным» в силу своей невосприимчивости Божественной красоты, закрытости к ней, своей ограниченности.

Через систему отражений прекрасного материя преображается, обретает форму и получает сакральную эстетическую ценность. С «красотой» у святого Григория Нисского тесно связаны и этические категории, понятие добра» Собственно и церковнославянское слово «добро» синонимично красоте. Через красоту возможно различение «истинного и мнимого добра». Зло, по мысли святого, «прикрашивается» добром. Поэтому и природа зла эклектична, «смешанная», она состоит из противоположностей, в ней утрачен порядок, строй, правда, а вместо этого содержится обман, иллюзия.

Красота у Григория Нисского имеет и гносеологический аспект: «…через красоту и величие видимого исследуя неизреченную и паче слова силу Со-

творившего». Она преображает, возвышает, является свидетельством начальственного положения человека. Складывается из «чистоты, бесстрастия, блаженства, всего дурного отчуждения». В своем «Большом Катехизисе» Григорий Нисский пишет, что человек как вершина творения «украшен»: «...украшен он и жизнью, и словом, и мудростью, и всеми боголепными благами...».

Этот путь очищения и украшения человека можно проследить и в прозе Михаила Тарковского, который находится в пушкинском и святоотеческом контексте постижения-видения чуда и красоты.

Важно еще сказать, что сам он – самостоятельная и состоявшаяся художественная величина. Вовсе не прицеп к памяти родственников и звучной фамилии.

Его фамилия, если спекулировать и жить на иждивенчестве, могла бы стать тем же, что и нефтяное проклятие для экономики. Используй на полную катушку, а под итог... ничего. Пустота и готовый имидж сына лейтенанта Шмидта.

Это тот случай, когда необходимо не только следовать традиции, но и преломить ее, обозначить свой путь, свой вектор, протоптать собственную тропку на своем участке. У Тарковского получилось. И конечно, бабушка, бабушка... Михаил Тарковский все это списывает на ее влияние, именно она прилюбила к природе, к литературе, вере, что вместе и есть путь. Как традиционный, так и свой уникальный, неповторимый. О ее влиянии и рассказ «Бабушкин внук».

У своей бабушки писатель особенно отмечает «чувство русского пространства». Этот дар передан и ему: «географическое ощущение России», которая раскрывается через пространства и движение, при этом не обязательно горизонтальное.

Михаил Тарковский выстраивает особый русский крест, соединяющий пространство, показывает важность центробежного пути. Практически повторяя путь пушкинского поэта, который в «забавах мира» тоскует и бежит «дикий и суровый», переполненный звуков «на берега пустынных волн, // В широкошумные дубравы...».

Бабушка обозначила направление, курс, створы, которые сошлись и ведут по жизни. Плюс важна способность к видению чуда, а оно – что сигнальный маячок.

Чудо – не обязательно метафизическое понятие. Начинается оно со сдвига обыденного, нового синтеза образов. Та самая поэзия и есть стихия чудесного: «Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, проскользив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие изредка сходящиеся створы и ведут тебя по жизни». Ведут путем воды и ветра, в сочетании которых и рождается музыка.

Этим путем ведет и Енисей, воспринимающийся за старшего брата. По нему равняют жизнь, как тот самый Парень из рассказа «Ложка супа», который «шел, потрагивая Енисей веревкой и зная, что связан с ним этой веревкой навсегда». Такова его неразрывная пуповина.

По схожим «створам» идет и прозаик Илья Кочергин («Точка сборки: повесть-триптих»). У Тарковского и Кочергина – общность пути, «чувство географии» и открытость чуду.

Кочергин – также один из голосов, преодолевающих иллюзию проклятия пространства, которое размывает знание о стране. Навязывает ложную мифологему «центр – периферия», по которой, чем дальше от центра, тем больше чувствуется обреченность и пустынность. Это важная линия в современной отечественной литературе. Здесь уже можно услышать отголоски советского порыва к покорению территории, выразителем которого был, например, Олег Куваев.

Речь идет о прозе географии, пространства. И вопрос здесь ставится все тот же почвенный, неизбывный, как в шукшинском киносценарии «Брат мой»: «Уехать – дело нехитрое. А на кого землю-то оставили? <…> Так и все уедем помаленьку. Что же тогда будет-то?» Этот вопрос звучит сейчас у многих авторов. У того же Михаила Тарковского, у Романа Сенчина.

У кочергинского героя вектор, что и у Тарковского. Он вырвался из Москвы, но только не в Красноярский край, а на Алтай. Его предки покоряли Первопрестольную, он же первооткрывателем вступает на территорию неизведанной земли. Его задача – присвоить это пространство, сделать своим. Прочувствовать «восхитительную ушибленность» огромностью территории, преодолеть отчуждение от нее.

Присвоение пространства – особый сдвиг, раскрытие чуда и постижение новых миров. С этим процессом связан главный концептуальный образ-символ повести Ильи Кочергина – точка сборки. Ее суть формулирует герой книги Митя Комогорцев: «…человек представляет из себя такое яйцо, сферу такую. И на боку у яйца есть такая светящаяся точка. Точка сборки. Она у всех людей в одном и том же месте, мы приучены ее держать там же, что и другие люди. Через нее проходят нити вселенной. Если мы ее сдвинем, то зацепим новые нити и увидим все по-другому. Увидим чудесные вещи, другие миры». Чудо Тарковского также происходит через подобные сдвиги. Он не пишет о «точке сборки», но говорит о «сердцевине бытия», к которой может быть причастен человек, и через это он обретает «безотчетную гордость за свою жизнь».

В смещении заключено умное зрение, открывающее и соединяющее миры. Смещение точки сборки производит «совершенно чудесные, сказочные вещи!». В движении, в присвоении пространства, также совершается особый сдвиг, позволяющий по-иному смотреть на мир, постигать его.

Через присвоение пространства и смещение точки сборки производится у Кочергина личное домостроительство – построение чудесного мира. Этот мир заключен в огромном и в то же время малом пространстве между костром и «далекой космической суетой». В процессе завоевания пространства и смещения точки опоры человек будто выходит из себя, преодолевает личную замкнутость, размывает границы.

Совершается своеобразный выход в космос, который и описывается Кочергиным. Через центробежное движение преодолевается отчужденность, происходит открытие большого мира, который присваивается как трофей, делается своим.

В центре книги Ильи Кочергина – традиционное противопоставление: «здесь – там». Москва – «нулевой километр» и пространства с другой стороны. Временное, новостная повестка, огонь костра и вечное, космос, звезды. И «я» героя – это огонек сигареты, который где-то между этими декорациями. Если сместить точку сборки, то «я» будет вполне соотносимо и с большой историей, которая свершается где-то в параллельной реальности, и с мирозданием. Все соизмеримо и равнозначно. Человек может отматывать историю назад, жадно и ненасытно присваивать пространство, «захватывая новые отпущенные тебе пространства, называя их и примеряя к себе», выстраивая особую космогонию?.. Об этом строительстве и причастии книга Ильи Кочергина, ее герой не просто меняет свои пространственные координаты, а роднится с территорией, соединяется с ней, «вступает во владения» своей огромной страны.

У Кочергина есть также отличный очерк «Чувствительность к географии». В нем автор-герой с супругой через двадцать лет посещает места, описанные в повести, и отмечает: «Мы плохо чувствуем огромное тело своей страны, словно подростки, не свыкшиеся еще со своими вымахавшими конечностями. Тело

работает, иногда устает, истощается, требует отдыха или болит. Но оно для нас только ресурс, мы пугаемся и злимся, когда оно подводит нас».

Отсюда и необходимое напоминание о теле страны – едином и живом организме, сейчас во многом заброшенном, непознанном, о пространстве, все больше становящемся пустынным, сжимающемся, тяготеющем к тому самому «нулевому километру».

Как-то прочел в интервью Михаила Тарковского фразу, что его Родина – «Россия, от океана до океана». Отечественная цивилизация всегда была географической единицей, без пространства здесь никуда, но пространство – не немое нечто, а многоголосное, и эта многоголосица всегда тяготеет к симфонии, к порядку и стройности.

Россия – огромная стихия, цивилизация, наполненная голосами.

Каждый выстраивает свой путь постижения и скрепления страны. Кто-то мыслит городами: Калининград, Псков, Архангельск, Екатеринбург, Омск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. Или монастырями, и сразу вспоминается луч Северной Фиваиды, доходящий до Соловков, который, в свою очередь, пускал путевые стрелы на Восток. Кто-то через слова, через голоса людей, которые не просто пишут книги, а ощущают дыхание жизни, пульс территории и цивилизационной симфонии, в которой начинают выполнять роль почти что дирижерскую: Илья Кочергин, Михаил Тарковский, Василий Авченко, Дмитрий Новиков. Это не региональный, не местечковый и провинциальный разговор, они, будто первооткрыватели и первопроходцы, повторяют путь отечественной идеи по освоению и постижению пространства: на океан, в безграничность. Сами становятся звеньями пути страны и ее стражами, хранителями.

У нас с завидной регулярностью говорят о переносе столицы за Урал. Если же говорить о пути слова, то центр в том числе там, где Михаил Тарковский. В этом смысле он столичный житель, в какую бы глухую тайгу ни забирался от океана до океана, он несет с собой симфонию слова, в которой свет русского пространства.

«Замороженное время» Тарковского – многозначный образ-символ. Это и сама Россия, в мерзлоте которой могут схорониться не только туши мамонтов, но и гигантская цивилизация: «Спрячься-схоронись в зимних просторах, русская Божья душа». Холод не дает «червоточине дойти до сердцевины». А это уже и человека касается.

Речь идет о том, чтобы не просто застыть в победоносцевской подморозке, а жить формулой русского чуда соединения несоединимого: «Мороз и солнце – день чудесный!» В ней не возникает никакого противопоставления, диссонанса и отталкивания, через отражения одного в другом производится синтез, выводящий на новый уровень качествования – чудо.

У Тарковского это так: «…мороз и яснец. Полное отсутствие какой-либо слякоти как снаружи, так и внутри. Полная бодрость». Внешний мороз внутренний человеческий жар производит.

Чудесное – свет рублевской «Троицы». Для этого света нужны большие пространства, по крайней мере, не может быть никаких преград. Ведь простор и воля в русской культуре, как писал Дмитрий Лихачев, всегда считались «величайшим эстетическим и этическим благом для человека». Все так и у писателя в его постижении, чувствовании и знании, что есть «великая и горькая ширь жизни».

Человек у Тарковского встраивается, естественным образом вписывается в большой мир и обретает себя, осмысленность своего существования. Через это возникает ощущение всеприсутствия единства, нет чувства покинутости, заброшенности, одиночества. Традиция, опыт, природа, а также видение чуда

наполняют все. В этом как раз и состоит служение «вечной красоте» со стремлением «защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла»...

Тот же Дмитрий Лихачев, рассуждая о древнерусских церквях, говорит о том, что «их строили в единении с природой», а чертеж делали «прямо на земле». Поэтому и храм гармонично вписывался в окружающий ландшафт. Человеческая культура и природа здесь, по его мысли, дополняли и «подправляли друг друга». Вот и герой Тарковского наводит порядок своими руками, обустраивает мир, противостоит хаосу и разладу. В этом гармонизирующем соработничестве, писал Лихачев, человеческая культура смягчает «резкости природы», которая, в свою очередь, смягчает «все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее человек». В этой встрече и возникают «нравственные основания», через которые тоже древнерусское искусство «преодолевает окружающую человека косность, расстояния между людьми, мирит его с окружающим миром».

Чувство родства – это когда не надо много говорить, не нужна и длинная история личных взаимоотношений. Достаточно взглянуть в глаза, пожать руку, обнять, перекинуться парой фраз. Все это второстепенные жесты, а светлое чувство и без них обойдется. Так и с Михаилом Тарковским. В его рассказах как раз и заключена энергия родства. После них уже не можешь автора воспринимать чужим, посторонним.

Рассказ Тарковского – не просто изложение истории, а попытка проникнуть за внешнюю оболочку реальности. Настройка особого «умного зрения», когда видение внешнего, причинно-следственного хода вещей сменяется морально-нравственной системой координат, душевным видением. Именно поэтому «грех» за убитую чужую норку изменяет формат восприятии реальности, он становится будто бы нарушенным, увечным и восстанавливается только «далеким отпускающим жестом» («Вековечно»). Чем не форма «замороженного времени», которое будто останавливается и подвешивается в пространстве и времени, как «морожены песни» Степана Писахова?..